

Герман Гессе

Нарцисс и Златоуст

Первая глава

Перед полукруглой аркой входа в монастырь Мариабронн, покоящейся на небольших сдвоенных колоннах, у самой дороги стоял каштан, одинокий сын юга, когда-то занесенный сюда римским паломником, благородный каштан с могучим стволом; мягко склонялась над дорогой его круглая крона, полной грудью дышала на ветру; весной, когда все вокруг уже зеленело и даже монастырский орешник покрывался красноватой молодой листвой, каштан не торопился раскрывать почки, позже, в пору самых коротких ночей, он вдруг выбрасывал вверх из пучков листвы бледные зеленовато-белые лучики своих необычных соцветий с таким призывным, удушливо терпким запахом, а в октябре, после сбора фруктов и винограда, из желтеющей кроны падали под порывами ветра на землю колючие плоды, которые созревали не каждый год; из-за них устраивали потасовки монастырские мальчишки, а помощник настоятеля Грегор, родом из Италии, жарил их на каминном огне в своей келье. Непривычно ласково шелестела над входом в монастырь Мариабронн крона красавца каштана, деликатного, немного зябнувшего гостя из других краев, связанного тайным родством со стройными, вырубленными из песчаника сдвоенными колоннами портала и каменными украшениями сводчатых окон, карнизов и пилястров, любимца итальянцев и латинян и чужака в глазах местных жителей.

Не одно поколение монастырских воспитанников прошло под кроной чужестранного дерева, держа под мышкой грифельные доски, болтая, смеясь, играя, препираясь, босиком или в башмаках, смотря по времени года, с цветком в губах, орехом за щекой или снежком в руке. Приходили новенькие, каждые несколько лет появлялись другие ученики, в большинстве своем похожие друг на друга: белокурые и курчавые. Иные оставались в монастыре, становились послушниками, становились монахами, принимали постриг, надевали рясу и подпоясывались шнурком, читали книги, обучали мальчишек, старели, умирали. Другие, закончив учебу, разъезжались с родителями по домам, в рыцарские замки, в дома купцов и ремесленников, разбредались по миру и занимались своими играми и промыслами, став взрослыми мужчинами, хотя бы разок

наведывались в монастырь, приводили в обучение к монастырским отцам своих сыновей, задумчиво улыбаясь, ненадолго вздымали глаза к кроне каштана и снова исчезали. В кельях и залах монастыря между круглыми массивными сводами окон и стройными сдвоенными колоннами из красного камня жили, учились, постигали науки, распоряжались, управляли; здесь из поколения в поколение развивали всякого рода искусства и науки, религиозные и светские, светлые и темные. Здесь писали и комментировали книги, изобретали системы, собирали сочинения древних, иллюстрировали рукописи, укрепляли в народе веру и над этой же верой посмеивались. Ученость и благочестивое смирение, наивность и лукавство, мудрость евангелий и мудрость греков, белая и черная магия — все здесь понемногу расцветало, всему находилось место; место находилось как для отшельничества и покаяния, так и для общительности и удовольствий; от личности настоятеля и господствующего течения времени всякий раз зависело, что получало перевес и преобладание. Иногда монастырь славился и посещался благодаря своим заклинателям дьявола и знатокам демонов, иногда благодаря святому отцу, исцелявшему болезни и творившему чудеса, иногда благодаря своей щучьей ухе и паштетам из оленьеи печени, для всего приходило время. И всегда среди множества монахов и учеников, ревностных и безразличных, соблюдающих пост и предающихся чревоугодию, среди многих, что приходили, жили и умирали в монастыре, находился кто-нибудь особенный, не похожий на других, кого все любили или боялись, кто казался избранным, о ком еще долго говорили, забыв о тех, кто жил в одно с ним время.

Вот и сейчас в монастыре Мариабронн было двое таких особенных, не похожих на других, старец и юноша. Среди многочисленной братии, заполнявшей спальни, церкви и классные комнаты, было двое, которых знали все, на которых все обращали внимание. То были настоятель Даниил, старец, и воспитанник Нарцисс, юноша, который только недавно стал послушником, но благодаря своему особому дарованию уже использовался, против обыкновения, как преподаватель, особенно в греческом. Обоих, настоятеля и послушника, ценили и уважали в монастыре, с них не спускали глаз, они возбуждали любопытство, вызывали восхищение и зависть, по их поводу втайне злословили.

Настоятеля любило большинство, у него не было врагов, он был преисполнен доброты, простоты и смирения. Только монастырские ученые примешивали к своей любви малую толику снисходительности, ибо

настоятель Даниил мог быть святым, но ученым он не был. Ему была присуща та простота, которая сродни мудрости; но его познания в латыни были скромны, а греческого он вообще не знал.

Те немногие, что при случае посмеивались над простотой настоятеля, были тем более очарованы Нарциссом, этим вундеркиндом, который говорил на изысканном греческом языке, этим прекрасным юношей с рыцарски безукоризненными манерами, спокойным проницательным взглядом мыслителя и тонкими, красиво и строго очерченными губами. Зато, что он превосходно знал греческий, его любили ученые. За благородство и изящество он был любим почти всеми, многие были в него просто влюблены. Но его спокойствие, выдержка и отменные манеры кое-кому были не по душе.

Настоятель и послушник, каждый по-своему, несли свой удел избранности, по-своему властвовали, по-своему страдали. Каждый из них чувствовал, что близок и симпатичен другому больше, чем всей остальной монастырской братии; и все же они не тянулись друг к другу, все же между ними не было доверительности. Настоятель относился к юноше с величайшей заботливостью, с величайшим вниманием, пекся о нем, как об избранном, нежном, быть может, слишком рано созревшем, быть может, подверженном опасностям брате. Юноша принимал каждое приказание, каждый совет и каждую похвалу настоятеля с абсолютным самообладанием, никогда не пререкался, никогда не выражал недовольства, и если настоятель не ошибался, полагая единственным его пороком высокомерие, то он великолепно умел этот порок скрывать. Его не в чем было упрекнуть, он был само совершенство, он превосходил всех. Жаль только, что лишь немногие, кроме ученых, становились его настоящими друзьями, что своей утонченностью он был окутан, как остужающим воздухом.

— Нарцисс, — однажды после исповеди сказал ему настоятель, — я виноват в том, что слишком строго судил о тебе. Я часто считал тебя высокомерным и, может статься, был к тебе несправедлив. Ты совсем один, мой юный брат, ты одинок, у тебя есть поклонники, но нет друзей. Иногда мне хотелось пожуричь тебя, но ты не давал для этого повода. Иногда мне хотелось, чтобы ты совершил какую-нибудь шалость, как это нередко случается с молодыми людьми твоего возраста. Но ты никогда не шалил. Временами я немного тревожусь за тебя, Нарцисс.

Юноша поднял на старика свои темные глаза.

— Я вовсе не хочу причинять вам беспокойство, отец мой. Может быть, я действительно заносчив. Прошу вас наказать меня за это. Отправьте меня в пустынь или велите исполнять самые тяжелые работы.

— Ты еще слишком молод для того и другого, дорогой брат, — возразил настоятель. — Вдобавок у тебя большие способности к языкам и медитации, сын мой. Возложи я на тебя тяжелые работы, это было бы расточительством дарований, данных тебе от Бога. Вероятно, ты станешь учителем или ученым. Разве тебе самому не хочется этого?

— Простите, отец мой, мне еще точно не известны мои желания. Я всегда с радостью буду заниматься науками, разве может быть по-другому? Но я не думаю, что наука станет моим единственным поприщем. Не всегда ведь судьбу и призвание человека определяют его желания, есть и нечто иное, предопределенное.

Настоятель выслушал и помрачнел. И все же, когда он заговорил, на его старом лице появилась улыбка.

— Насколько я знаю людей, все мы, особенно в молодые годы, в какой-то мере склонны путать провидение и собственные мечты. Но раз уж ты полагаешь, что наперед знаешь о своем предназначении, расскажи мне о нем. В чем, по-твоему, твое призвание?

Нарцисс полузакрыв свои темные глаза, и они совсем спрятались за длинными черными ресницами. Он молчал.

— Говори, сын мой, — после затянувшейся паузы напомнил настоятель.

Не поднимая глаз, Нарцисс тихо заговорил:

— Мне кажется, я знаю, что прежде всего я предназначен для монастырской жизни. Мне кажется, я стану монахом, священником, помощником настоятеля и, может быть, настоятелем. Я не стремлюсь к должностям, но на меня будут их возлагать.

Оба долго молчали.

— Откуда у тебя эта вера? — поколебавшись, спросил старик. — Какие свойства в тебе, кроме учености, внушают тебе эту веру?

— Это свойство, — медленно проговорил Нарцисс, — способность чувствовать сущность и предназначение, не только мои собственные, но и других людей. Это свойство вынуждает меня служить другим, повелевая ими. Не будь я рожден для монастырской жизни, я бы стал судьей или государственным деятелем.

— Может быть, — кивнул настоятель. — Ты уже испытал на примерах свою способность постигать людей и их судьбы?

— Да, испытал.

— Ты готов привести хотя бы один пример?

— Готов.

— Хорошо. Поскольку мне не хотелось бы без ведома наших братьев вторгаться в их тайны, может быть, ты скажешь, что тебе известно обо мне, настоятеле Данииле?

Нарцисс поднял голову и посмотрел настоятелю в глаза.

— Это ваше приказание, отец мой?

— Да, приказание.

— Мне трудно говорить, отец.

— И мне нелегко заставлять тебя говорить, мой юный брат. И все же я это делаю. Говори!

Нарцисс опустил голову и шепотом произнес:

— Я знаю о вас немного, благочестивый отец. Я знаю, что вы служитель Господа и что вы с большей охотой пасли бы коз или в ските слушали перезвон колокольчика и принимали исповедь у крестьян, а не управляли большим монастырем. Я знаю, что особенную любовь вы питаете к Божьей Матери и чаще всего молитесь ей. Иногда вы молитесь о том, чтобы

греческие и прочие науки, которыми занимаются в этом монастыре, не внесли опасной сумятицы в души вашей паствы. Иногда вы молитесь, чтобы вас не оставило терпение в отношениях с вашим помощником Грегором. Иногда просите послать вам легкую смерть. И вы, я думаю, будете услышаны, вас ждет легкая кончина.

В маленькой приемной настоятеля стало тихо. Наконец старик заговорил.

— Ты склонен к мечтательности, и у тебя бывают видения, — дружелюбно сказал он. — Благочестивые и приятные видения тоже могут ввести в заблуждение; не полагайся на них, как и я на них не полагаюсь... Ты видишь, мой мечтательный брат, что я думаю об этих вещах в сердце своем?

— Я вижу, отец мой, что вы относитесь к ним с большой доброжелательностью. Вы думаете: «Этот юный ученик немного нездоров, у него бывают видения, быть может, он слишком много времени уделяет медитации. Я мог бы наложить на него покаяние, оно ему не повредит. Но епитимью, которую я наложу на него, мне надобно взять и на себя». Вот что вы только что подумали.

Настоятель поднялся. С улыбкой он показал послушнику, что пора прощаться.

— Ладно, — сказал он, — не принимай своих видений чересчур всерьез, мой юный брат; Господь требует от нас не видений, а кое-чего иного. Предположим, ты польстил старику, пообещав ему легкую смерть. Предположим, старик какое-то мгновение с удовольствием внимал твоему обещанию. Но хватит об этом. Прочти все молитвы Розария, завтра же после утренней мессы, прочти не поверхностно, а со смирением и самоотречением, я сделаю то же самое. А теперь иди, Нарцисс, довольно разговоров.

В другой раз настоятелю Даниилу пришлось улаживать спор между самым молодым из наставников и Нарциссом, которые не смогли договориться об одном пункте учебного плана: Нарцисс с большой горячностью настаивал на том, чтобы ввести в преподавание кое-какие новшества, и убедительно обосновывал необходимость такого шага; однако отец Лоренц, из своего рода ревности, не хотел на это идти, и за каждым новым обсуждением

следовали дни раздраженного молчания и взаимной обиды, пока Нарцисс, чувствуя свою правоту, не начинал разговор снова. Наконец патер Лоренц не без обиды в голосе сказал:

— Ладно, Нарцисс, пора положить конец нашему спору. Ты ведь знаешь, что решение должен принимать я, а не ты, ты мой помощник, а не коллега и обязан мне подчиняться. Но поскольку дело кажется тебе столь важным и поскольку я превосхожу тебя в должности, но не в знаниях и таланте, мне не хочется принимать решение самому, давай лучше доложим отцу настоятелю, пусть решает он.

Так они и сделали, и настоятель Даниил терпеливо и любезно выслушал мнения обоих ученых о преподавании грамматики. После того как они подробно изложили и обосновали свои соображения, старик весело взглянул на них, слегка покачал седой головой и сказал:

— Дорогие братья, вы ведь и сами не верите, что я разбираюсь в этих вещах столь же хорошо, как и вы. Похвально, что Нарцисс принимает школьные дела так близко к сердцу и стремится усовершенствовать учебный план. Но если его начальник придерживается иного мнения, Нарциссу следует умолкнуть и подчиниться, ибо все улучшения учебного плана не стоят того, чтобы ради них нарушались порядок и дисциплина в этом доме. Я порицаю Нарцисса за то, что он не сумел уступить. А вам обоим, молодым ученым, я желаю, чтобы у вас никогда не было недостатка в предстоятелях, которые глупее вас; лучшего средства от заносчивости не бывает.

С этой добродушной шуткой он отпустил их. Но в последующие дни он не забывал присмотреть за тем, чтобы между обоими наставниками установилось доброе взаимопонимание.

И вот случилось так, что в монастыре, видевшем столько лиц, которые приходили и уходили, появилось новое лицо, и это новое лицо не относилось к числу тех, что остаются незамеченными и скоро забываются. Это был юноша, уже давно записанный отцом в число воспитанников; в один из весенних дней он приехал, чтобы учиться в монастырской школе.

Они, юноша и его отец, привязали своих лошадей к каштану, из портала навстречу им вышел привратник.

Отрок поднял глаза на голую после зимы крону.

— Такого дерева я еще не видел. Прекрасное, удивительное дерево! Хотел бы я знать, как оно называется.

Отец, пожилой господин с озабоченным лицом, на котором застыла хитроватая усмешка, не обратил внимания на слова юноши. Однако привратник, которому мальчик сразу пришелся по нраву, ответил на его вопрос. Отрок любезно поблагодарил его, подал руку и сказал:

— Меня зовут Златоуст, здесь я буду учиться в школе.

Привратник дружелюбно улыбнулся ему и пошел впереди вновь прибывших через портал и дальше, вверх по широким каменным ступеням, и Златоуст вступил в монастырь без колебаний, с чувством, что здесь он уже встретил двух существ, с которыми мог бы подружиться, — дерево и привратника.

Прибывших принял сначала патер, ведавший делами школы, а к вечеру и сам настоятель. В обоих случаях отец, имперский чиновник, представил своего сына, и его пригласили погостить некоторое время в монастыре. Однако он воспользовался гостеприимством только на одну ночь, объявив, что на следующий день должен уехать. В качестве дара он предложил монастырю одну из своих лошадей, и этот дар был принят. Беседа с духовными лицами была вежливой и холодной; но и настоятель, и патер с радостью поглядывали на почтительно молчавшего Златоуста, красивый и ласковый юноша им тотчас понравился. На следующий день они без сожалений расстались с отцом, сына же с удовольствием оставили у себя. Златоуста представили наставникам, он получил койку в спальне для воспитанников. Почтительно и опечаленно простился он со своим отъезжающим отцом, стоял и смотрел ему вслед, пока тот не проехал между амбаром и мельницей и не скрылся за узкими сводчатыми воротами внешнего монастырского двора. Когда он обернулся, на его длинных светлых ресницах повисла слеза; но к нему уже подошел привратник и ласково похлопал его по плечу.

— Не печалься, барчук, — сказал он, утешая Златоуста. — Поначалу почти

все немножко тоскуют по родине, по отцу с матерью, по братьям и сестрам. Но ты скоро увидишь: здесь тоже можно жить, и очень даже неплохо.

— Благодарю, брат привратник, — сказал юноша. — У меня нет ни матери, ни братьев и сестер, у меня есть только отец.

— Зато ты найдешь здесь товарищей, и ученость, и музыку, и новые игры, пока еще тебе неведомые, и многое другое, вот увидишь. А если у тебя появится нужда в человеке, который хорошо к тебе относится, тогда приходи ко мне.

Златоуст улыбнулся ему.

— О, я очень вам благодарен. Если вы хотите доставить мне удовольствие, покажите мне, пожалуйста, скорее, где стоит наша лошадка, которую оставил здесь мой отец. Я хотел бы поприветствовать ее и взглянуть, хорошо ли ей живется.

Привратник тут же повел его в конюшню рядом с амбаром. Там в тепловатом полумраке стоял острый запах лошадей, навоза и ячменя, и в одном из стойл Златоуст нашел гнедого, который на своей спине доставил его сюда. Он обнял животное, которое узнало его и вытянуло к нему голову, обеими руками за шею и прижался щекой к широкому лбу с белой звездочкой, ласково погладил его и прошептал на ухо:

— Здравствуй, Звездочка, славная моя лошадка, как поживаешь? Ты еще любишь меня? У тебя довольно еды? Вспоминаешь ли ты о родном доме? Звездочка, лошадка моя, как хорошо, что ты осталась здесь, я буду часто приходить к тебе и присматривать за тобой.

Он вытащил из-за отворота рукава ломоть хлеба, оставшийся от завтрака и припасенный им впрок, и, отламывая по кусочку, скормил лошади. Затем распрощался и вслед за привратником прошел во двор, широкий, как рыночная площадь большого города, и частично заросший липами. У входа во внутренний двор он поблагодарил привратника и пожал ему руку, но обнаружил, что уже не помнит дорогу в свой класс, негромко засмеялся, покраснел и попросил привратника проводить его туда, что тот с удовольствием и сделал. Когда он вошел в классную комнату, в которой на скамьях сидела дюжина мальчиков и юношей, помощник учителя Нарцисс повернул к нему голову.

— Я Златоуст, — сказал мальчик, — новый ученик.

Нарцисс поздоровался, не улыбнувшись, указал ему место на задней скамейке и сразу же продолжил занятие.

Златоуст сел. Он удивился, встретив столь юного учителя, лишь на несколько лет старше его самого, удивился и очень обрадовался тому, что этот молодой учитель оказался таким красивым, благородным и серьезным и при этом таким привлекательным и достойным любви. Привратник был с ним ласков, настоятель встретил его очень любезно, в стойле стояла Звездочка, которая была частичкой родины, а тут еще этот удивительно молодой учитель, серьезный, как учитель, и благородный, как принц, да еще с таким спокойным, строгим, деловым и не терпящим возражений голосом! Исполненный признательности, он стал слушать, еще не совсем понимая, о чем идет речь. У него было хорошо на душе. Он попал к добрым, достойным людям и был готов любить их и добиваться их дружбы. Утром в постели, едва проснувшись, он чувствовал себя подавленным, да и усталость от долгого путешествия еще не прошла, а прощаясь с отцом, он даже немного всплакнул. Но сейчас ему было хорошо, он был доволен. Снова и снова он подолгу задерживался взглядом на молодом учителе, любовался его подтянутой фигурой, его холодно сверкающими глазами, его строгими губами, четко и ясно произносившими слова, его вдохновенным, не знающим усталости голосом.

Но когда урок закончился и ученики с шумом поднялись со своих мест, Златоуст испуганно вздрогнул и с некоторым смущением заметил, что он на какое-то время задремал. И не только он один заметил, это увидели и его соседи по скамейке и шепотом передали дальше. Едва молодой учитель вышел из классной комнаты, как товарищи принялись дергать и толкать Златоуста со всех сторон.

— Выспался? — спросил один из них и ухмыльнулся.

— Ну и школяр! — с насмешкой крикнул другой. — Из него выйдет отличное церковное светило. На первом же уроке уснул как сурок!

— Отнесем малыша в постельку, — предложил кто-то, и они со смехом схватили его за руки и ноги, чтобы вынести из класса.

Рассердившись, Златоуст попытался вырваться, он наносил удары направо

и налево, получал тычки, его бросили на пол, кто-то еще держал его за ногу. Он рывком освободился, бросился на первого встречного, оказавшегося на его пути, и тотчас же затеял с ним отчаянную потасовку. Его противник был сильный парень, и все с любопытством взирали на поединок. Когда же Златоуст не поддался и угостил сильного соперника парочкой изрядных ударов кулаком, у него среди товарищей уже появились и друзья, хотя ни одного из них он еще не знал по имени. Вдруг все поспешно бросились в разные стороны, и едва успели выбежать из класса, как появился отец Мартин, заведующий школой, и остановился перед оставшимся в одиночестве мальчиком. Он с удивлением смотрел на отрока, в голубых глазах которого на раскрасневшемся и слегка побитом лице застыло смущение.

— Ну, что это с тобой? — спросил он. — Ты ведь Златоуст, не так ли? Они тебя чем-нибудь обидели, эти шалопаи?

— О нет, я с ними справился.

— С кем это?

— Не знаю. Я еще ни с кем не знаком. Один из них дрался со мной.

— Вот как? Начал он?

— Я не знаю. Нет, мне кажется, начал я сам. Они меня дразнили, и я разозлился.

— Что ж, хорошенькое начало, мой мальчик. Заруби себе на носу: если ты еще раз устроишь потасовку здесь, в классной комнате, будешь наказан. А сейчас отправляйся на полдник, да побыстрее!

Отец Мартин с улыбкой наблюдал, как пристыженный Златоуст убегал, пытаясь на ходу пригладить ладонью растрепанные белокурые волосы.

Златоуст и сам считал, что его первое деяние в этой монастырской жизни было довольно нелепым и безрассудным; немного подавленный, он нашел своих товарищей за полдником. Его встретили уважительно и дружелюбно, он по-рыцарски примирился со своим недругом и с этой минуты почувствовал себя среди них своим.

Вторая глава

Хотя с той поры он сошелся со всеми, но настоящего друга нашел не скоро; среди его школьных товарищей не было никого, к кому он чувствовал бы душевную близость или особую симпатию. Но они удивились, найдя в ловком кулачном бойце, которого они склонны были считать славным забиякой, очень миролюбивого коллегу, который, похоже, больше стремился к тому, чтобы снискать славу примерного ученика.

В монастыре было два человека, к которым Златоуст питал сердечную привязанность, которые ему нравились и занимали его мысли, которыми он восхищался, которых любил и почитал: настоятель Даниил и младший учитель Нарцисс. Настоятеля он склонен был считать святым, его простота и добросердечие, его ясный, заботливый взор, его манера распоряжаться и управлять со смирением и самоотдачей, его добрые, спокойные жесты — все это влекло Златоуста неодолимо. Он бы с радостью стал слугой благочестивого старца, чтобы всегда быть рядом, повинувшись и служа ему, не задумываясь принес бы ему в жертву всю свою отроческую жажду преданности и самоотречения и научился бы у него чистой и исполненной святости жизни. Ибо Златоуст замышлял не только закончить монастырскую школу, но и, если представится возможность, навсегда остаться в монастыре и посвятить свою жизнь Богу; такова была его воля, таковы были желание и требование его отца, и, по-видимому, так было предназначено самим Богом. Никто бы этого не сказал, глядя на красивого, сияющего отрока, и все же его угнетало какое-то бремя, бремя происхождения, тайное предназначение к покаянию и жертве. Настоятель тоже не заметил этого, хотя отец Златоуста на что-то намекал и ясно дал понять, что хотел бы видеть сына навсегда оставшимся в монастыре. Казалось, с рождением Златоуста связан какой-то тайный порок, нечто сокровитное, казалось, требовало искупления. Но отец настоятелю не очень понравился, на его слова и на все его несколько надменное поведение он ответил холодной вежливостью и не придавал его намекам особого значения.

Другой же, вызвавший любовь Златоуста, был прозорливее и догадывался о большем, но вел себя сдержанно. Нарцисс-то уж наверняка заметил, какая

удивительная чудо-птица залетела к ним. Он, столь одинокий в своем благородстве, вскоре почувствовал в Златоусте родственную душу, хотя во всем тот казался его противоположностью. Нарцисс был темен лицом и сухощав, Златоуст весь светился и цвел. Нарцисс был мыслителем и аналитиком, Златоуст казался мечтателем с душой ребенка. Но противоположности перекрывало то, что их объединяло; оба были людьми благородными, оба отличались от других очевидными дарованиями и обоим судьба отметила особой печатью.

Нарцисс чувствовал глубокую симпатию к этой юной душе, склад и судьбу которой он скоро прозрел. Златоуст горячо восхищался своим прекрасным, необыкновенно умным учителем. Но Златоуст был робок; он хотел завоевать расположение Нарцисса только тем, что до изнеможения старался быть внимательным и прилежным учеником. Но не только робость сдерживала его. Сдерживало его и чувство опасности, исходившей от Нарцисса. Идеалом и примером для него не могли быть добрый, смиренный настоятель и одновременно чрезвычайно умный, ученый, отмеченный острым интеллектом Нарцисс. И однако же, всеми силами своей юной души он тянулся к обоим идеалам, таким несоединимым. Нередко это заставляло его страдать. Иногда, в первые месяцы учебы в монастырской школе, Златоуст чувствовал в сердце своем такое смятение и такую раздвоенность, что едва не поддавался соблазну убежать из монастыря или излить свой гнев и свою беду в общении с товарищами. Часто в нем, добродушном, в ответ на невинные поддразнивания и подначки вспыхивала такая дикая злоба, что он лишь огромным напряжением сил сдерживал себя и молча отворачивался, закрыв глаза и покрывшись смертельной бледностью. Тогда он шел на конюшню к своей Звездочке, прижимался головой к шее лошади, целовал ее и выплакивал свою печаль. Постепенно страдания его усиливались, их стали замечать. Щеки его впали, взгляд потух, редкой стала такая любимая всеми улыбка.

Он и сам не понимал, что с ним происходит. Он честно хотел быть хорошим учеником, как можно скорее стать послушником, а затем смиренным, незаметным братом монахов; он верил, что все его силы и дарования стремятся к этой благочестивой и скромной цели, других желаний у него не было. И с каким же удивлением и печалью ему пришлось убедиться, как труднодостижима эта прекрасная цель. Временами он обескураженно и отчужденно замечал в себе достойные порицания наклонности и состояния: рассеянность и отвращение к учебе,

привычку мечтать и фантазировать или дремать на лекциях, недовольство учителем латыни и антипатию к нему, раздражительность и гневливую нетерпимость в отношениях со школьными товарищами. Но более всего сбивало с толку то, что его любовь к Нарциссу никак не вязалась с любовью к настоящему Даниилу. При этом иногда он, казалось, был глубоко уверен, что и Нарцисс его любит, желает ему добра и ждет его.

Мысли Нарцисса были заняты мальчиком значительно больше, чем тому казалось. Он хотел видеть в этом красивом, светлом и милом отроке своего друга, смутно чувствовал в нем свою противоположность и дополнение себе, ему хотелось приблизить его, наставлять, просвещать, рачительно взращивать и довести до расцвета. Но он сдерживал себя. Он поступал так по многим причинам, и почти все они были осознанными. В первую очередь его сковывало и сдерживало отвращение, которые он испытывал к тем нередко встречающимся наставникам и монахам, которые влюблялись в учеников или послушников. Он и сам довольно часто с брезгливостью ощущал на себе похотливые взгляды пожилых мужчин, довольно часто ему приходилось с молчаливым упорством отвергать их любезности и ласки. Теперь он лучше понимал их — и его влекло к красивому Златоусту, хотелось вызвать его милую улыбку, нежно погладить рукой по волосам. Но он никогда не сделает этого, никогда. Кроме того, как ассистент, бывший в ранге учителя, но не имевший ни его должности, ни авторитета, он привык вести себя с особой осторожностью и бдительностью. С теми, кто был лишь на несколько лет младше его, он вел себя так, будто был старше их лет на двадцать, он строго запретил себе отдавать предпочтение кому бы то ни было из учеников и заставлял себя относиться к каждому неприятному ему воспитаннику подчеркнуто справедливо и заботливо. Его служба была служением духу, ему он посвятил свою строгую жизнь, и только тайно, в минуты полной расслабленности, он позволял себе радость высокомерия, наслаждение своими занятиями и своим умом. Нет, какой бы соблазнительной ни казалась ему дружба с Златоустом, в ней таилась опасность, и она не должна была затрагивать сути его жизни. Сутью и смыслом его жизни было служение духу, служение слову, спокойное, уверенное; лишенное своекорыстия наставление своих — и не только своих — учеников в их продвижении к высоким духовным целям.

Уже больше года Златоуст был учеником монастырской школы в Мариабронне, сотни раз играл он во дворе под липами и под прекрасным каштаном с товарищами в школьные игры — бегал наперегонки, играл в

мяч, в разбойников, в снежки; наступила весна, но Златоуст чувствовал себя усталым и болезненным, у него часто болела голова, на занятиях он с трудом заставлял себя быть бодрым и внимательным.

Однажды вечером к нему обратился Адольф, тот самый ученик, первая встреча с которым обернулась тогда дракой и который этой зимой начал изучать с ним Евклида. Случилось это после ужина, в свободный час, когда разрешалось играть в спальнях, болтать в школьных комнатах и гулять во внешнем монастырском дворе.

— Златоуст, — сказал Адольф, увлекая его с собой вниз по лестнице, — я хочу тебе что-то сказать, нечто забавное. Но ведь ты пай-мальчик и наверняка мечтаешь стать когда-нибудь епископом — дай мне сперва слово, что ты не нарушишь законов товарищества и не выдашь меня учителям.

Златоуст не раздумывая дал слово. Существовало понятие монастырской чести и понятие чести ученической, и временами оба эти понятия входили в противоречие, он знал об этом. Но, как и повсюду, неписанные законы были сильнее писанных, и, пока он оставался учеником, ему бы и в голову не пришло нарушить школьные законы и понятия о чести.

Адольф тащил его к portalу под деревьями. Есть несколько хороших и смелых товарищей, шепотом рассказывал он, причисляя к ним и самого себя, которые переняли от предыдущих поколений обычай время от времени вспоминать, что они ведь не монахи, и на вечерок убегать из монастыря в деревню. Это веселое приключение, настоящий парень от него не откажется, а ночью они вернутся обратно.

— Но ворота уже будут заперты, — возразил Златоуст.

— Разумеется, их закроют, в том-то и забава. Но тайными путями можно незаметно войти в монастырь, им такое уже не впервой.

Златоуст припомнил, что уже слышал выражение «сходить в деревню». Оно означало ночные вылазки школяров в поисках всевозможных тайных удовольствий и приключений, монастырский закон запрещал их под угрозой строгого наказания. Он испугался. Поход «в деревню» был грехом, запретным деянием. Но он хорошо понимал, что именно поэтому среди «настоящих парней» почиталось за честь пренебречь опасностью и что

приглашение участвовать в этом приключении означало определенное отличие.

Лучше всего было бы сказать «нет», убежать к себе и лечь спать. Он очень устал и чувствовал себя отвратительно, все послеобеденное время у него болела голова. Но он немного стеснялся Адольфа. И кто знает, может быть, там, за стенами монастыря, во время вылазки его ждало нечто прекрасное и новое, нечто такое, что поможет забыть головную боль и тупость и прочие несчастья. Это была вылазка в мир, правда, тайная и запретная, за которую вряд ли похвалят, но, может быть, она несла в себе освобождение и новый душевный опыт. Он стоял в нерешительности, пока Адольф уговаривал его, а потом вдруг рассмеялся и согласился.

Незаметно затерялся он вместе с Адольфом под липами в широком темном дворе, внешние ворота которого к этому часу уже были закрыты. Товарищ провел его в монастырскую мельницу, где в полумраке, под несмолкающий шум колес легко было незаметно ускользнуть. В полной темноте они выбрались через окно на влажный скользкий штабель деревянных брусков, один из которых надо было вытащить и перекинуть через ручей для переправы. И вот они уже вне монастыря, на тускло поблескивающем тракте, теряющемся в лесу. Все это было волнующим, таинственным и очень понравилось мальчику.

На опушке леса стоял еще один ученик, Конрад, а после долгого ожидания к ним присоединился, тяжело шагая, и верзила Эберхард. Юноши вчетвером шли по лесу, над ними с шумом взлетали ночные птицы, несколько влажно-светлых звезд показалось в разрывах спокойных облаков. Конрад болтал и шутил, иногда и остальные смеялись вместе с ним, но все же над ними витало жутковато-торжественное ночное настроение, и сердца их бились быстрее.

Через какой-нибудь час они миновали лес и добрались до деревни. Казалось, все в ней уже погрузилось в сон, тускло поблескивали низкие фронтоны домов с проступавшими темными ребрами карнизов, повсюду царил мрак. Адольф шел впереди; молча, крадучись, обогнули они несколько домов, перелезли через забор, очутились в огороде, ощутили под ногами мягкую землю грядок, споткнулись о ступеньки и остановились перед стеной дома. Адольф постучал в ставень, подождал, постучал еще раз, внутри послышался шум, вскоре загорелся свет, ставни открылись, и

один за другим они пробрались внутрь, на кухню с черным дымоходом и земляным полом. На плите стояла маленькая масляная лампа, над тонким фитилем мигало слабое пламя. Там была девушка, сухопарая крестьянка, она пожала пришельцам руки, за ее спиной из темноты показалась другая девушка, совсем еще дитя с длинными темными косами. Адольф принес гостинцы, полкаравая белого монастырского хлеба и что-то в бумажном свертке, Златоуст предположил, что это немного украденного ладана, свечного воска или чего-нибудь подобного. Девочка с косичками вышла, пробравшись без света за дверь, долго не появлялась и вернулась с кувшином из серой глины с нарисованным на нем голубым цветком. Кувшин она протянула Конраду. Он отпил и передал дальше, все пили, это было крепкое молодое яблочное вино.

При свете крошечной лампы они расселись, обе девушки на маленьких жестких табуретках, школяры прямо на полу вокруг них. Они разговаривали шепотом и пили яблочное вино, тон задавали Адольф и Конрад. Время от времени один из них вставал и гладил сухопарую по волосам и по затылку, нашептывая что-то на ухо, малышку никто не трогал. Вероятно, подумал Златоуст, высокая — это служанка, а маленькая — дочка хозяев дома. Вообще-то ему было все равно, это не имело к нему отношения; сюда он никогда больше не придет. То, что они тайком выбрались из монастыря и прогулялись ночью по лесу, было прекрасно, необычно, волнующе и таинственно, но все же не опасно. Правда, это запрещалось, но нарушение запрета не очень отягощало совесть. Но то, что происходило здесь, этот ночной визит к девушкам, было не только запретно, это, так он чувствовал, было греховно. Для других, вероятно, и это было всего лишь небольшой шалостью, но не для него; ему, знавшему о своем предназначении к монашеству и аскезе, играть с девушками не дозволялось. Нет, он сюда никогда больше не придет. Но сердце его билось сильнее и сжималось от робости в полутьме убогой кухоньки.

Его товарищи изображали перед девушками героев и важничали, вплетая в разговор латинские выражения. Похоже, все трое пользовались благосклонностью служанки, время от времени они осторожно и неловко ласкали ее, и самой нежной из этих ласк был робкий поцелуй. Видимо, они точно не знали, что им здесь разрешалось. И поскольку вся беседа почему-то велась шепотом, сцена выглядела немного комичной, однако Златоуст так ее не воспринимал. Примостившись на корточках, он сидел на земляном полу, смотрел не мигая на слабый огонек коптилки и не говорил

ни слова. Иногда он боковым зрением с жадностью ловил нежности, которыми обменивались другие. Он смотрел прямо перед собой. Больше всего ему хотелось взглянуть на малышку с косичками, но именно это он себе и запретил. Однако всякий раз, когда усилие его воли ослабевало и взгляд как бы случайно останавливался на спокойном и нежном лице девочки, он непременно обнаруживал, что она не сводит глаз с его лица и смотрит на него как зачарованная.

Прошло, вероятно, около часа — для Златоуста никогда время не тянулось так медленно, — когда латинские словечки и нежности школяров истощились, наступила тишина, все сидели в некотором смущении, Эберхард начал зевать. Тогда служанка напомнила, что пора прощаться. Все встали и пожали девице руку, Златоуст в последнюю очередь. Потом все подали руку младшей. Златоуст последним. Первым через окно выбрался Конрад, за ним последовали Эберхард и Адольф. Когда стал вылезать и Златоуст, он почувствовал, что чья-то рука удерживает его плечо. Но он уже не мог остановиться; уже стоя на земле снаружи, он несмело обернулся. Из окна высунулась малышка с косичками.

— Златоуст! — прошептала она.

Он не двигался.

— Ты придешь еще? — Ее робкий голос прошелестел, как дуновение ветерка.

Златоуст покачал головой. Она протянула обе руки, взяла его за голову, он ощутил на своих висках тепло ее маленьких ладошек. Она низко наклонилась, так что ее темные глаза оказались совсем близко от его глаз.

— Приходи еще! — прошептала она, и ее губы прикоснулись к его губам в детском поцелуе.

Он быстро побежал по маленькому огороду следом за остальными, спотыкаясь о грядки, чувствуя запах сырой земли и навоза, расцарапал о розовый куст руку, перелез через забор, выбрался из деревни и припустил вдогонку за товарищами в сторону леса. «Никогда в жизни!» — повелевала его воля. «Нет, завтра же!» — умоляло и плакало навзрыд сердце.

Никто не встретился ночным бродягам, незамеченными вернулись они в

Мариабронн — перебрались через ручей, миновали мельницу и поросший липами двор и окольными путями, по карнизам, через разделенные колоннами монастырские окна, проникли к себе в спальню.

Утром верзилу Эберхарда пришлось будить тумакам и, так крепко он спал. Все четверо поспели в срок к утренней мессе, на завтрак и в аудиторию; но Златоуст выглядел столь неважно, что отец Мартин спросил, не заболел ли он. Заметив предостерегающий взгляд Адольфа, Златоуст ответил, что он здоров. Однако на уроке греческого, ближе к полудню, Нарцисс все время держал его в поле зрения. Он тоже видел, что Златоуст болен, но молчал и внимательно наблюдал за ним. В конце урока он подозвал его к себе. Чтобы не привлекать внимания воспитанников, он отослал его с поручением в библиотеку. И туда же вслед за ним отправился сам.

— Златоуст, — сказал он, — не нужна ли тебе моя помощь? Я вижу, ты попал в беду. Быть может, ты заболел? Тогда мы уложим тебя в постель и пришлем тебе больничного супу и стакан вина. Сегодня тебе было не до греческого.

Он долго ждал ответа. Бледный Златоуст растерянно посмотрел на него, опустил голову, снова поднял ее, губы его дрогнули, он хотел что-то сказать, но не мог. Вдруг он наклонился в сторону, положил голову на подставку для книг, между двумя маленькими головками ангелов, вырезанными из дуба и обрамлявшими ее, и разразился такими рыданиями, что Нарцисс смутился и на время отвел взгляд в сторону. Затем он подхватил и поднял всхлипывающего Златоуста.

— Ну-ну, — сказал он приветливее, чем обычно, — вот и ладно, друже, поплачь как следует, скоро тебе станет легче. Вот так, садись, и ни о чем не надо говорить. Я вижу, тебе неважно; вероятно, ты все утро крепился из последних сил, стараясь, чтобы никто ничего не заметил, у тебя это здорово получилось. А сейчас поплачь, это лучшее, что ты можешь сделать. Нет? Уже все? Ты снова в норме? Тогда пойдем в больничную палату, ты ляжешь в постель, и нынче к вечеру тебе станет значительно лучше. Пойдем же!

Он провел его, обходя школьные классы, в больничную палату, указал на одну из двух пустующих коек и, когда Златоуст послушно начал раздеваться, вышел, чтобы сообщить о его болезни руководителю школы. На кухне он, как и обещал, заказал для него суп и стакан больничного вина;

оба этих beneficia^[1], принятые в монастыре, были очень по душе тем, кому слегка нездоровилось.

Златоуст лежал на больничной койке и пытался оправиться от растерянности. Около часа тому назад он, пожалуй, и смог бы объяснить себе, что стало сегодня причиной его невыносимой усталости, какое страшное душевное напряжение замутило ему голову и довело до слез. Это было упорное, каждую минуту обновлявшееся и каждую минуту заканчивавшееся неудачей усилие забыть вчерашний вечер — даже не вечер, не глупую и восхитительную вылазку из запертого монастыря, не прогулку по лесу и не скользкую переправу через мельничный ручей, не лазание через заборы, окна и проходы, а всего лишь миг у того темного кухонного окна, дыхание и слова девочки, пожатие ее рук, прикосновение ее губ.

Но сейчас к этому добавилось нечто другое, еще одна опасность, еще одно переживание. Нарцисс обратил на него внимание. Нарцисс любил его, Нарцисс заботился о нем — этот изысканный, благородный и умный послушник с тонко очерченным, чуть насмешливым ртом. А он-то, он раскис в его присутствии, стоял перед ним пристыженный, заикающийся, а потом и зареванный! Вместо того чтобы завоевать расположение этого превосходного человека самым благородным оружием — успехами в греческом и в философии, духовным подвижничеством и мужественным стоицизмом, — он, жалкое ничтожество, опозорился перед ним! Никогда он не простит себе этого, никогда не сможет без стыда посмотреть ему в глаза.

Но слезы сняли напряжение, тихое больничное одиночество и хорошая постель оказывали благотворное действие, отчаяние лишилось своей силы более чем наполовину. Через час вошел дежурный монах, принес мучной суп, ломтик белого хлеба и небольшой бокал красного вина, которое школярам выдавали только по праздничным дням. Златоуст съел полтарелки супа, отодвинул его в сторону, пригубил бокал, снова впал в задумчивость, но это ничего не дало; он опять пододвинул к себе тарелку, проглотил еще несколько ложек. И когда чуть позже тихонько отворилась дверь и вошел Нарцисс, чтобы проведать больного, он лежал и спал, и на щеках его снова появился румянец. Долго рассматривал его Нарцисс, с любовью, с пытливым любопытством и с некоторой завистью. Он видел: Златоуст не был болен, завтра ему не понадобится больше присылать вина. Но он знал, что лед тронулся и они станут друзьями. Пусть сегодня

Златоуст нуждается в нем, в его услугах. Но в другой раз слабым может оказаться он сам, и ему понадобятся помощь и любовь. И если так случится, то от этого мальчика он их примет.

Третья глава

Странная дружба стала связывать Нарцисса и Златоуста; лишь немногим она нравилась, и временами могло показаться, что они и сами ею недовольны.

Нарциссу, человеку мысли, поначалу приходилось труднее всего. Он все переводил в сферу духовности, даже любовь; ему не дано было бездумно отдаваться привязанности. В этой дружбе ему выпала роль духовного руководителя, и долгое время он один признавал неотвратимость, меру и смысл этой дружбы. Долгое время он один переживал всю глубину чувства, понимая, что друг только тогда будет по-настоящему принадлежать ему, когда он подведет его к пониманию. Златоуст отдавался новой жизни искренне и пылко, легко и безотчетно; Нарцисс принимал высокое предназначение осознанно и ответственно.

Для Златоуста сначала это было избавлением и исцелением. В его юной душе вид и поцелуй красивой девушки только что властно пробудили желание любви и сразу же безнадежно отпугнули его. Ибо в глубине души он чувствовал, что все его прежние мечты, все, во что он верил, к чему, как ему казалось, был предназначен и призван, этим поцелуем в окне, взглядом этих темных глаз в корне своем подверглись опасности. Приуготовленный отцом к монашеской жизни, всем сердцем приняв это предназначение, с юношеским пылом обратившись к благочестивому, аскетически-подвижническому идеалу, он при первой же беглой встрече, при первых зовах жизни к его чувствам, при первом приветливом женском слове неотвратимо ощутил, что именно здесь таится его враг и демон, что опасность для него заключена в женщине. И вот теперь судьба посылала ему спасение, теперь, в самый трудный час, его осенила эта дружба, предлагая его душевным устремлениям цветущий сад, а благоговению — новый алтарь. Здесь ему позволено любить, позволено без греха отдавать себя, дарить свою любовь достойному восхищения, превосходящему его летами и умом другу, превращая опасное чувственное пламя в жертвенный огонь, одухотворяя его.

Но уже в первую весну этой дружбы он столкнулся со странными препятствиями, с неожиданными, загадочными периодами охлаждения, с пугающей требовательностью. Ибо он был далек от того, чтобы воспринимать себя как антипода и противоположность своего друга. Ему казалось, достаточно одной только любви, одной только искренней преданности, чтобы превратить двоих в единое целое, чтобы сгладить различия и преодолеть противоречия. Но каким суровым и твердым, каким неумолимо строгим был этот Нарцисс! Казалось, ему неведомы и нежелательны простодушная самоотверженность и благодарные совместные странствия по стране дружбы. Казалось, он не знал и не терпел путей без цели, мечтательного кружения вокруг да около. И хотя в пору недомогания Златоуста он заботился о нем, хотя он помогал ему и давал ценные советы в учебных и научных занятиях, объяснял трудные места в книгах, учил понимать тонкости грамматики, логики, теологии, но, казалось, никогда не был по-настоящему доволен другом и согласен с ним, более того, часто он, по-видимому, посмеивался над ним и не принимал его всерьез. Златоуст, правда, чувствовал, что это не педантизм, не важничанье старшего и более умного, что за этим стоит нечто более глубокое и значительное. Но понять, что представляет собой это более глубокое, он не мог, и нередко дружба с Нарциссом повергала его в состояние печали и растерянности.

В действительности Нарцисс прекрасно понимал, что происходит с другом, он видел и его цветущую красоту, и его естественную силу, богатую палитру чувств. Он ни в коем случае не был учителем-педантом, который пичкает юную цветущую душу греческим и отвечает на невинную любовь логикой. Скорее он слишком любил белокурого отрока, и в этом для него таилась опасность; ибо любовь была для него не естественным состоянием, а чудом. Он не позволял себе влюбиться, удовлетвориться приятным созерцанием этих милых глаз, близостью этого цветущего и чистого белокурого существа, он не позволял своей любви даже на мгновение задержаться на чувственных переживаниях. Ибо если Златоуст только видел свое предназначение к монашеству, аскезе и вечному стремлению к святости, то Нарцисс действительно был предназначен к такой жизни. Любовь была разрешена ему только в одной-единственной, высшей форме. Но в предназначение Златоуста к аскезе Нарцисс не верил. Яснее, чем кто бы то ни было, умел он читать в душах людей, а эта, столь любимая им, открывалась ему с особой ясностью. Он видел сущность Златоуста и глубоко понимал ее, несмотря на то что сам был его противоположностью;

ибо она была другой, утраченной половиной его собственной сути. Он видел, что сущность эта укрыта твердым панцирем фантазий, просчетов воспитания и отцовских внушений, и давно уже прозрел всю не очень сложную тайну этой юной жизни. Он ясно понимал свою задачу: открыть эту тайну ее носителю, освободить его от панциря, возвратить ему его собственную природную сущность. Это будет нелегко сделать, и самое трудное заключается в том, что при этом он мог потерять своего друга.

Бесконечно медленно приближался он к своей цели. Прошли месяцы, прежде чем появилась возможность предпринять серьезную попытку и основательно поговорить со Златоустом.

Так далеки были они друг от друга, несмотря на всю их дружбу, так натянуты были отношения между ними. Так и шли они рядом, зрячий и слепой; и то, что слепой ничего не знал о своей слепоте, лишь облегчало ему жизнь.

Первую брешь Нарцисс пробил, когда пытался разузнать о переживании, которое подтолкнуло к нему потрясенного мальчика в минуту его слабости. Разузнать это было не так трудно, как он предполагал. Златоуст давно ощущал потребность исповедаться в том, что произошло той ночью; но кроме настоятеля, не было никого, к кому он испытывал бы достаточно доверия, а настоятель не был его духовником. И вот когда однажды в благоприятную минуту Нарцисс напомнил другу о самом начале их союза и мягко коснулся тайны, тот сказал без обиняков:

— Жаль, что ты еще не рукоположен и не можешь исповедовать; с радостью снял бы я с себя этот груз на исповеди и с радостью искупил бы вину покаянием. Но своему духовнику я не могу об этом поведать.

Осторожно, словно охотник, напавший на верный след, Нарцисс продолжал расспросы.

— Ты помнишь, — начал он с оглядкой, — то утро, когда тебе показалось, что ты заболел? Ты не забыл его, ведь именно тогда мы стали друзьями. Я часто думаю о нем. Быть может, ты не обратил внимания, но я тогда был довольно беспомощен.

— Ты — и беспомощен? — недоверчиво воскликнул друг. — Напротив, беспомощным был я! Это я стоял перед тобой всхлипывая, не мог

вымолвить ни слова и в конце концов разрыдался, как дитя! Да я до сих пор стыжусь этой минуты; я думал, что никогда больше не смогу показаться тебе на глаза. Ты видел меня таким жалким и слабым!

Нарцисс ощупью продвигался дальше.

— Я понимаю, — сказал он, — тебе это было неприятно. Такой крепкий и храбрый парень, как ты, — и вдруг разрыдался перед чужим человеком, да еще перед учителем, это и впрямь не вязалось с твоим обликом. Ну, тогда я посчитал, что ты и в самом деле болен. Даже Аристотель повел бы себя необычно, если бы его трясла лихорадка. Но ведь ты тогда вовсе не был болен! И лихорадка тут ни при чем! Именно этого ты стыдишься. Тому, кого лихорадит, нечего стыдиться, не так ли? Тебе было стыдно, потому что ты оказался во власти какого-то иного переживания, потому что тебя что-то потрясло. Случилось нечто особенное?

Златоуст немного поколебался, а затем медленно проговорил:

— Да, случилось нечто особенное. Позволь мне считать тебя своим духовником; когда-нибудь надо же это высказать.

Опустив голову, он поведал другу историю той ночи.

На это Нарцисс, улыбаясь, сказал:

— Ну да, ходить «в деревню» в самом деле запрещено. Но можно сделать много запретного и посмеяться или исповедаться — и дело с концом, оно тебя больше не касается. Почему тебе нельзя делать маленькие глупости, которые делает почти каждый школяр? Разве это так уж плохо?

Не сдержавшись, Златоуст разразился гневной тирадой:

— Ты и впрямь говоришь, как школьный учитель! А ведь ты точно знаешь, о чем речь! Разумеется, я не вижу большого греха в том, чтобы подшутить разок над местными правилами и поучаствовать в проделке школяров, хотя это и нельзя счесть подготовкой к монастырской жизни.

— Замолчи! — резко воскликнул Нарцисс. — Тебе разве не ведомо, друже, что для многих благочестивых отцов была нужна именно такая подготовка? Разве ты не знаешь, что одним из кратчайших путей к жизни святого может

стать жизнь развратника?

— Ах, перестань! — возразил Златоуст. — Я хотел сказать: не малая толика непослушания отягощала мою совесть, а нечто иное. Это была девушка. Это было чувство, которое я не могу тебе описать. Такое чувство, что стоит мне только поддаться искушению, стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до девушки, и я уже никогда не найду пути назад, что грех поглотит меня, как бездна ада, и никогда уже не отпустит. Что всем прекрасным мечтам, всем добродетелям, всей любви к Богу придет конец.

Нарцисс задумчиво кивнул.

— Любовь к Богу, — сказал он, медленно подыскивая слова, — не всегда совпадает с любовью к добру. Ах, если бы все было так просто! Мы знаем, что есть добро, об этом говорится в заповедях. Но в заповедях не весь Бог, они — лишь маленькая частичка его. Ты можешь следовать заповедям и быть далеко от Бога.

— Неужели ты не понимаешь меня? — жалобно спросил Златоуст.

— Разумеется, я тебя понимаю. В женщине, в проблемах пола ты чувствуешь воплощение всего того, что ты называешь «миром» и «грехом». Тебе кажется, что на все другие грехи ты или вовсе не способен, или же, даже совершив их, не позволишь им раздавить себя, покаешься и загладишь вину. Кроме одного греха!

— Точно, это именно то, что я чувствую.

— Вот видишь, я тебя понимаю. К тому же ты не далек от истины, история о Еве и змее-искусителе и в самом деле не досужий вымысел. И все же ты не прав, милый. Ты был бы прав, будь ты настоятелем Даниилом или твоим крестным, святым Хризостомом, будь ты епископом, священником или только простым монахом. Но ты ни то, ни другое, ни третье. Ты школяр, и, даже если ты желаешь навсегда остаться в монастыре или если твой отец этого желает для тебя, ты ведь еще не давал обета, тебя не посвятили в сан священника. Если тебя сегодня или завтра начнет соблазнять красивая девушка и ты поддашься искушению, ты не нарушишь клятвы, не преступишь обета.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)